

НЕМЬ

10k Hz

8k Hz

4k Hz

2k Hz

1k Hz

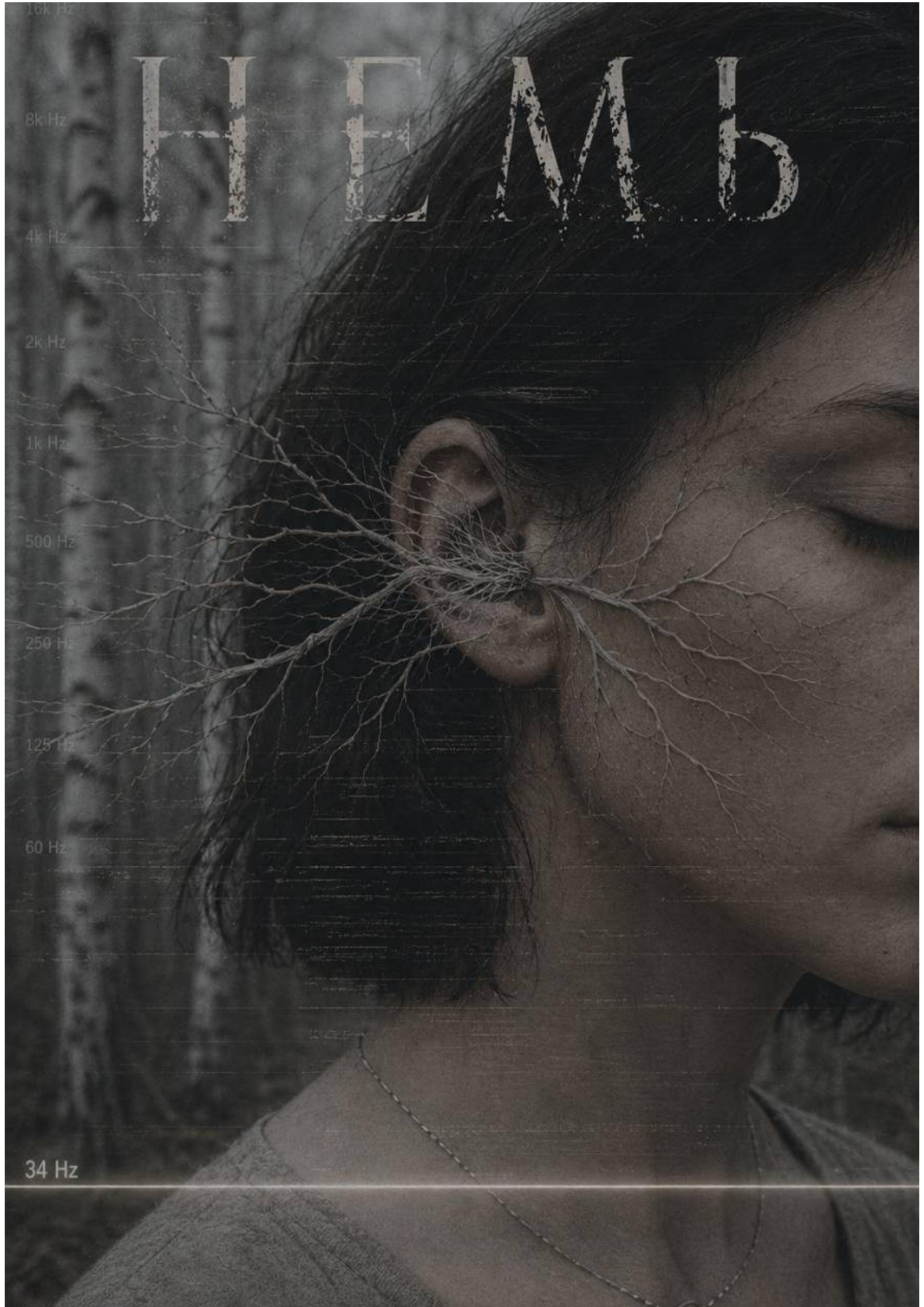
500 Hz

250 Hz

125 Hz

60 Hz

34 Hz



Monsieur Пяа

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса

«Автор»

2026

Пуя М.

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса / М. Пуя — «Автор», 2026

Аня приезжает в мамин дом на тридцатый день после похорон: разобрать вещи, закрыть счета, продать. Дом стоит на поляне в двенадцати километрах от деревни, и вокруг него на четыре километра не поют птицы. В первую же ночь она слышит голос матери. Не из-за стены. В собственной челюсти. Аня пятнадцать лет работает звукорежиссёром и умеет одно: разбирать звук на части. Она находит в кладовке тридцать две тетради, которые мать вела двадцать девять лет, и по ним выводит правила. Звук будит. Тепло находит. Мерное оно не слышит, оно слышит сбой. Значит, нельзя топить печь. Нельзя греться. Нельзя бояться, потому что от страха сбивается дыхание. И нельзя отзываться. За каждое слово в темноту оно забирает слух: сначала птиц, потом женские голоса, потом согласные. Мать платила по этому счёту тридцать лет. Аня хочет знать, за что. Ответ лежит в подвале, и он хуже, чем всё, что она успела придумать.

© Пуя М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	21

Monsieur Иуа

НЕМЬ. Тот, кто ест голоса

Глава 1

Руки на руле дрожали, и первые пару километров я валила это на дорогу.

Потом поняла, что дорога тут ни при чём. Так трясёт, когда в миксе пропадает дорожка. Три секунды слушаешь пустоту на месте вокала и только после этого соображаешь нажать стоп.

Руки десять и два, как учил инструктор, которого мне оплатила мама. Я сдала с третьего раза, и она сказала: «Анечка, ты же умная девочка, просто не слушаешь».

Я тогда не послушала. И сейчас не слушаю. И еду в её дом.

Мотор гудел на своих низких. Гравий шуршал под днищем. Ветер посвистывал в щели у стекла. Всё работало, всё было на местах, и поверх этого лежала дыра. Она сидела в том диапазоне, где я пятнадцать лет слышу живое, и меня от неё мутило, как мутит в лифте, когда трос идёт рывками.

Я убавила магнитоу. Потом выключила совсем.

Стало хуже. В тишине салона я наконец расслышала, чего не хватает снаружи.

Птиц.

Ни одной. Июнь, три часа дня, подмосковный лес, где соловей орёт так, что его слышно через стену аппаратной. Кто-то взял и выключил всё живое одной кнопкой. Оставил листву, и та шелестела ватно, глухо, с заткнутыми ушами.

Телефон лежал на пассажирском. Одна палка сети.

Я смотрела на эту палку и думала, что звонить надо сейчас. В доме связи не будет. Мама ходила за четыре километра в деревню и говорила оттуда: «Анечка, у меня тут тишина, мне хорошо».

Я говорила: мам, может, приедешь.

Она говорила: мне тут хорошо.

Это было три года назад. Потом звонки стали короче. Потом я перестала звонить. Потом позвонил Лёша и сказал: Ань, мама.

Два гудка. Три.

– Ань. Ты где?

Он говорил на одной ноте, без единого захода вверх. Так держат себя за горло изнутри, чтобы не заорать. Я этот тон знаю, сама им пользуюсь с заказчиками на четвёртой переделке.

– Подъезжаю. Дом вижу. Леш, у тебя сеть есть? Я хочу, чтобы ты был на связи, пока я там.

Пауза. Слышно, как он дышит. На вдохе свист. Бросил три года назад, свист остался, и каждый раз мне хочется сказать ему что-нибудь тёплое. Мы с Лёшей не из тех, кто говорит тёплое.

– Ань, послушай меня. Не ходи в подвал.

– Я приехала разобрать вещи и закрыть счета. Мне подвал не нужен.

– И не отзывайся.

Я сбавила. Гравий захрустел крупнее, и от этого хруста мне стало легче. Звук есть. Воздух работает. Значит, с птицами показалось.

– На что не отзываться?

Он молчал. Я считала секунды, привычка. В паузе живёт всё, чего человек не сказал, и три секунды это уже решение молчать дальше.

– Если услышишь голос. Мамин. Не отвечай ему. Не разговаривай. Не отзывайся.

За стеклом мелькнула поляна, и на поляне дом. Одноэтажный, бревенчатый, тёмная крыша. Я увидела его так, как вижу всё: сперва звук, потом форму.

Дом не издавал ничего. Ни гула, ни скрипа, ни того дыхания, какое есть у любого жилого дома с работающим холодильником и половицами под ногами. Он стоял как выключенный монитор. Есть, и внутри ничего не работает.

– Леш. Мама умерла месяц назад.

– Знаю.

– Мы её похоронили. Ты был. Мы вместе выбирали гроб, и ты сказал, что ручки пластиковые, а мама бы хотела деревянные. Я сказала, что маме всё равно. Ты на меня так посмотрел, будто я её второй раз убила.

– Знаю, Ань.

Он замолчал, и я слышала, как он сглотнул.

– У неё лицо было, – сказал он. – Ты не видела, тебе закрытый показывали. А я видел, когда приехал. У неё лицо было как у человека, который очень долго молчал и наконец перестал.

Я остановилась метрах в двадцати от крыльца и не стала глушить мотор. Он был единственное, что звучало на всю поляну.

– Сороковины в воскресенье, – сказала я. – Ты приедешь?

Он не ответил.

– Ясно. Значит, помяну одна.

– Ань.

– Что.

– Ты только успевай до воскресенья. – Он выговорил это одним куском, быстро, чтобы не сорваться на середине. – Разбери, что надо, забери документы и уезжай. До воскресенья. Слышишь?

– Почему до воскресенья?

– Просто уезжай.

– Леш, ты сейчас издеваешься? Ты мне звонишь второй раз за месяц и оба раза с загадками.

– Продай дом, Ань. Разбери вещи, закрой счета, продай и не оглядывайся. Я туда не поеду. Не могу. Мне бабушка рассказывала.

– Что рассказывала?

– Про Мёртвую поляну.

– Леш.

– Не ходи в подвал. Не отзывайся.

Короткие гудки.

Про того, кто ест голоса.

Он не договорил, и мне не нужно было.

Бабушка у нас была одна на двоих, и не мамина: мамина умерла, когда мне было три, я её не помню совсем. Осталась баба Нина, отцова мать. Она прожила до две тысячи одиннадцатого, мы у неё оставались на выходные всё детство, и рассказывала нам она.

Она была из здешних мест, из-под Хвойного, и знала всё, что тут знают.

Мне было девять. Она говорила негромко, без всякого выражения, тем голосом, каким читают прогноз погоды: есть такое место, где не поют птицы, и там живёт тот, кто ест голоса, и кто ему отзовётся, того он заберёт. Потом укрывала меня и уходила, и я лежала и слушала, как в трубах шумит вода, и была счастлива, что вода шумит.

Я держала телефон у уха ещё секунд десять и слушала тишину в трубке. Тишина была густая, как воздух перед грозой, когда дышится тяжело и волосы на руках встают без всякого ветра.

Экран погас. Значок сети мигнул и пропал.

Я заглушила мотор.

Теперь стало по-настоящему тихо.

* * *

Воздух был прохладнее, чем положено июню, градуса на три. И он ничем не пах. Ни лесом, ни травой, ни прелью. Так пахнет в комнате, откуда вынесли мебель и вымыли пол хлоркой. Чисто и мертво.

Кроссовки шуршали по траве. Я слышала это шуршание, слышала свой шаг, слышала, как дышу, и держалась за эти три звука, как держатся за поручень.

Дверь стояла приоткрытая на ладонь, и из щели несло подполом. Холод шёл снизу, от земли.

Я поднялась на крыльцо и чуть не наступила на тапочку.

Одна. Тридцать восьмой, левая, клетчатая фланель, на выцветшем коврике.

Правой не было.

У меня свело желудок. Мама всегда носила обе. Мама даже в больницу брала обе и говорила: «Анечка, а вдруг я встану».

Не встала.

Я вошла.

В сенях пахло пылью и старым деревом. Дальше кухня, из кухни коридор, из коридора её комната. Весь дом на четыре шага.

На кухне стол был накрыт на одного.

Я обошла его кругом. Тарелка чистая, посередине. Вилка лежала боком, сдвинутая. Так её отодвигают, когда поели и встали.

Стакан стоял на скатерти, и под ним расплзлось пятно с высохшим ободком по краю.

Я тронула стакан пальцем и отдёрнула руку.

Ледяной. Как из морозилки.

Я вытерла палец о джинсы, хотя вытирать было нечего.

Подняла глаза на часы. Без десяти девять, маятник не качался.

* * *

Дальше я сделала то, что делаю всегда и в любом помещении, куда захожу впервые.

Я хлопнула в ладоши.

Это первое, чему учат. Хлопок даёт короткий широкополосный импульс, комната отвечает своим хвостом, и по хвосту слышно всё: объём, высоту потолка, что на стенах, есть ли параллельные плоскости, будет ли тут порхающее эхо. Опытному человеку хватает одного хлопка, чтобы понять, можно ли в этой комнате писать.

Я хлопаю в лифтах, в подъездах, в чужих квартирах и в переговорных. Меня за это не любят.

* * *

Кухня ответила неправильно.

Шесть на три с половиной, потолок два семьдесят, бревно, крашеный пол, печь в углу, окно с одинарным стеклом.

Такая комната должна дать сухой короткий хвост с горбом на низкой середине и цокотом от параллельных стен.

Она дала хвост от помещения вдвое меньше.

* * *

Я хлопнула ещё раз.

То же самое.

Я прошла в комнату матери и хлопнула там.

Комната была меньше кухни, а ответила длиннее.

* * *

Я стояла в коридоре и минуты три соображала.

Хвост зависит от объёма и от того, чем облицованы поверхности. Мягкое съедает, твёрдое возвращает. Если комната отвечает как меньшая, значит, часть звука куда-то ушла и не вернулась.

Ушла она вниз.

Под кухней что-то съедало мой хлопок.

* * *

Я тогда объяснила это себе тем, что под кухней подпол, и он забит тряпьем, и всё сходится.

Это было разумно. Это было даже почти правдой.

Потом я пошла в сени и хлопнула там, у самого люка, и села на пол.

* * *

Сени ответили ничем.

Я слышала сам хлопок, ладонь о ладонь, и на этом всё кончалось.

Ни хвоста, ни отражения от стены в полутора метрах, ни от потолка над головой. Как в заглушённой камере, куда я студенткой ходила на экскурсию и откуда вышла через восемь минут, потому что затошнило.

Заглушённую камеру строят год. Клинья из стекловаты в полметра, развязанный пол, двойные двери.

Тут были доски, половик и старая вешалка.

* * *

Я хлопала в сенях, наверное, раз тридцать.

Я меняла место. Я приседала и вставала. Я хлопала над головой и у самого пола.

Один раз я хлопнула, стоя ногами на люке, и вот тогда мне стало нехорошо по-настоящему, потому что доски под подошвами дрогнули, а звука не было вообще: ни хлопка, ни отзвука, ничего.

Ладони жгло. Я их отхлопала до красноты и не слышала последних десяти.

* * *

Я вышла на крыльцо и хлопнула снаружи.

Хлопок был. Нормальный, летний, с коротким отскоком от стены дома.

Я сделала шаг обратно в сени и хлопнула там.

Ничего.

Граница проходила по порогу.

Холодильник в углу стоял с распахнутой дверцей. Я ждала, что компрессор щёлкнет и загудит, как гудит в любой кухне, где есть еда и свет и кто-то живёт.

Он не щёлкнул.

Я стояла посреди её кухни и слушала. Слушать было нечего. Ни гула, ни тиканья. Даже кран не капал.

— Мам, — сказала я. — Ну и тишина у тебя тут. Ты этого хотела?

Голос вышел из горла. Я почувствовала вибрацию в груди, в связках, в нёбе.

И не услышала себя.

Ни слова. Ни шороха. Я стояла с открытым ртом посреди кухни, воздух проходил, связки работали, а звука не было вовсе.

— Мам.

Ничего.

— Мама!

Я заорала это в потолок. Горло драло. В ушах не появилось даже того давления, которое всегда бывает от собственного крика.

Тогда я схватила стакан и швырнула его в стену.

Он ударился в бревно и разлетелся. Осколки ушли веером по полу, один отскочил от плинтуса и завертелся на месте.

Ни от удара, ни от осколков.

Голова пошла кругом. Я схватилась за спинку стула. Стул скрипнул ножками по половице, и скрип я слышала. Тихий, короткий, на двух килогерцах.

Я села и потрогала горло пальцами. Горло было тёплое и работало.

Скрип был. Крика не было.

Я полезла в карман куртки. Пальцы обхватили метроном.

Латунь, грани, колесико. Я кручу это колесико лет с восьми, и мама каждый раз говорила «не трогай, ломаешь». Не сломала за пятнадцать лет.

Она привозила его мне в Москву вместе с банками и носками, ставила на стол и говорила одно и то же:

– Чтобы ты знала, где темп, Аня. В жизни тоже есть темп.

Потом уходила, не дожидаясь ответа.

Металл охлаждал подушечки. В груди отпустило на палец, и я смогла вдохнуть глубже.

«Ты приехала разобрать вещи. Закрывать счета. Уехать до воскресенья».

Заводить не стала. Просто держала.

* * *

В коридоре на тумбочке стояла фотография.

Мама на фоне этого самого дома. Седая, шестьдесят лет, щурится на солнце. И улыбается так, как мне не улыбалась ни разу.

Рядом лежала вторая, поменьше. Там мне лет пять, я сижу у неё на коленях, у неё тёмные волосы, и она смеётся.

Я не помню её смеха. За тридцать четыре года ни одного.

В висках заломило.

Я положила маленькую фотографию лицом вниз и пошла в её комнату.

Кровать заправлена. Одеяло подоткнуто по краям, по-больничному. Тумбочка пустая, только круглый след в пыли, сантиметров пятнадцать поперёк.

Я легла не раздеваясь. Кроссовки скинула на пол, куртку оставила на себе, метроном в кармане, телефон рядом экраном вниз.

Семьдесят три процента. Сети нет. Хватит на ночь.

Свет выключать не стала.

Лежала и смотрела в потолок. Белёный, в трещинах, и трещины шли от люстры к углам, как корни. За окном темнело, и я не заметила, когда именно. Заката не было. Сумерек тоже. Сперва серо, потом черно.

Тишина в комнате загустела, и на перепонки надавило изнутри, как в самолёте на взлёте, когда не успел сглотнуть. Я сглотнула. Не прошло. Зевнула до хруста в челюсти, широко, некрасиво. Тоже не прошло. Давление держалось без толчков. Меня опускали на глубину и делали это медленно, чтобы я успела привыкнуть.

Я закрыла глаза и досчитала до пяти.

И слышала.

* * *

Голос пришёл снизу, из-под коренных, из кости. Пошёл вверх по скулам, по вискам. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла, что слышу.

У меня в двадцать шесть расшаталась пломба. Я две недели водила по ней языком и не могла перестать. Она была чужая и моя одновременно, и я ковыряла её, пока не расковыряла до нерва.

Между ртом и ухом всегда есть метры. Их можно измерить, записать, положить на дорожку.

Здесь метров не было. Здесь нечему было нести.

Голос сидел у меня в скулах и вибрировал.

Доченька.

Одно слово, и я узнала его по форме. Смысл дошёл вторым. Форма, с которой она говорила «Анечка, поешь» и «Анечка, шапку надень». Тёплая, чуть хрипая на низах, как после чая с лимоном. И удлинение на последнем слоге, только её, я передразнивала его в четырнадцать и меня выворачивало от него в восемнадцать. Три года не слышала. Теперь оно сидело у меня в челюсти и тянуло вверх, к глазам.

Мне холодно. Иди ко мне.

Я стиснула зубы так, что заскрипело в висках.

Голос не пропал и не стал тише. Он стоял без пауз, и каждый его заход я принимала нижней челюстью.

Ногти вошли в кожу. Ладони саднило. Это было моё.

Анечка. Не молчи. Мне так холодно.

Вибрация усилилась. Я почувствовала её нёбом за верхними зубами, там, где десна переходит в твёрдое.

Из глаз потекло. От давления, как течёт, когда давят на глазное яблоко. В животе при этом было холодно и очень спокойно.

Слёзы уходили по вискам в волосы. Я их не вытирала.

Господи, как я хотела ответить.

Три года не звонила. Три года она говорила «мне тут хорошо», а я говорила «хорошо, мам» и вешала трубку. Теперь она в земле, а голос её у меня в скулах и зовёт.

Я молчала.

* * *

Грудь стало давить изнутри. На руках встали волоски.

Я открыла глаза.

Стена в метре от кровати. Белёная. Трещина, которую я видела днём.

Трещина стала шире. На палец. На два.

Из неё росло бледное и тонкое.

Оно вибрировало. Дрожь я видела глазами и чувствовала зубами одновременно, и от этого совпадения желудок подтянуло к горлу.

Отросток шёл из трещины по стене вверх, к потолку, потом вниз.

Ко мне.

Я вжалась в матрас и задержала воздух в груди. Тело сообразило раньше головы: двигаться нельзя. Оно ищет того, кто отзовётся.

«Не шевелись. Оно на звук».

Отросток остановился в сантиметре от моего носа.

Вблизи он был как связка. Бледный, влажный, с продольными волокнами по всей длине, и в двух местах волокна перекручивались, затянутые не туда. По нему шла мелкая частая рябь. Так рябит шнур, держащий ноту. Ноты я не слышала. На конце сидело утолщение с ноготь мизинца, тонкое до просвета, и внутри неё тоже двигалось, слишком мелко, чтобы разглядеть.

Мембрана дрожала в сантиметре от моего лица и ждала.

Все зубы заныли разом, до корней.

Я лежала и не дышала, и в голове у меня было пусто и ясно, как бывает пусто в аппаратной, когда все ушли, а ты остался сводить.

Отросток втянулся в трещину.

Стена стала белой.

Я слушала своё сердце в горле и в запястьях. В стуке не было голоса. От этого мне стало хуже, чем было при нём.

* * *

Я встала. Ноги на пол. Линолеум холодный, холод шёл снизу, из-под досок.

Про подвал я не думала. Я думала про дверь.

Пошла босиком через коридор в сени. Линолеум лип к подошвам, и я слышала своё шлёпанье, и держалась за него.

Входная дверь. Та, что была приоткрыта днём на ладонь.

Я потянула на себя. Не пошла.

Толкнула. Не пошла.

Дёрнула ручку. Ручка провернулась вхолостую, дверь стояла. Не запертая. Не заклинившая. Вросшая.

Я ударила в неё кулаком.

Вибрация прошла по кости до локтя. Я почувствовала удар плечом, грудью, зубами.

Тихо.

Ударила ещё раз, всем весом. Дверь не издала ни стука, ни скрипа, ни низкого гула, какой издаёт любое дерево, когда по нему бьют.

Я била в дверь собственного дома и не слышала себя.

Так выключают микрофон. Кнопка нажата, ты говоришь, тебя нет.

Голова поплыла. Я упёрлась лбом в косяк и постояла так.

Потом пошла на кухню, к окну.

Наступила на осколок.

Он вошёл в пятку под самой подушечкой. Я села на пол там же, где стояла, и вытащила его двумя пальцами. Стекло длинное, миллиметров восемь. Крови вышло много и сразу, тёмной в жёлтом свете лампочки.

Вот тогда я и заплакала. Не от голоса и не от двери. Я сама разбила этот стакан час назад, потому что не смогла удержать себя в руках, и теперь сидела в собственных осколках.

Я зажимала пятку ладонью и трясла головой, и слёзы капали мне на джинсы, и ни одного своего всхлипа я не услышала.

Потом встала на пятку и пошла к окну, оставляя следы.

Приложила ладонь к стеклу. Холодное. Тронула задвижку, ржавую, и задвижка скрипнула, и я услышала этот скрип.

На одну секунду мне стало легче.

Я ударила ладонью по стеклу. Стекло завибрировало под рукой, вибрация ушла в запястье и в кончики пальцев.

Ничего.

Ударила костяшками, сильнее. Кость отдала в локоть.

Стекло целое. Я била в то, что не может разбиться, и делала это беззвучно.

За окном стояла чернота. У ночи есть глубина, в ней различимы деревья. Здесь кто-то выключил небо и забыл включить обратно.

Я сползла по стене на пол, у самой двери в сени, и обхватила колени. Пятка пульсировала и марала линолеум.

Метроном давил в бок.

Я достала его и положила на ладонь. Смотрела на колесико.

Шестьдесят ударов в минуту. Сердце в покое.

Моё сердце в покое не было. Метроном об этом не знал.

Я завела.

Первый щелчок пришёл на самой границе слышимости. Второй пришёл через секунду.

До воскресенья оставалось шесть дней.

Я считала щелчки и ждала утра, которого не будет.

Глава 2

Утро не пришло. Пришло серое.

Я поняла это по тому, что чернота за окном посветлела на один тон, и от этого одного тона мне стало хуже. Чернота хотя бы не врала. Серое притворялось днём и не давало ничего.

Я спала сидя, привалившись к косяку. Колени хрустнули, спина не разогнулась с первого раза, и я постояла согнутая, упираясь ладонями в бёдра.

Лампочка горела с ночи. При сером свете она выглядела жалко, как выглядит любая лампочка, забытая до утра.

Пятка присохла к линолеуму.

Я отодрала её и увидела на полу тёмный овал в ладонь величиной. От него шли следы, штук пять, всё бледнее к раковине. Порез затянулся коркой, края разошлись белым.

Осколки лежали там же, где легли ночью. Веером от плинтуса.

Я нашла под мойкой веник и совок и собрала их. Веник шоркал по линолеуму, и шорох я слышала, тихий, шершавый.

Высыпала стекло в ведро. Стекло посыпалось в ведро и звякнуло, и звяканье я тоже услышала, коротко, на излёте.

На скатерти осталось пятно с высохшим ободком. Стакана над ним больше не было, и от этого пятно выглядело хуже, чем накануне.

Я открыла кран.

Вода пошла сразу, тугая, и загудела в трубе. Я подставила ладони и пила прямо из-под крана, и вода была ледяная, до зубной боли.

От боли в зубах я вспомнила ночь.

Зубы заныли сильнее.

Телефон лежал на полу у косяка. Я подняла его. Шестьдесят один процент. Значок сети перечёркнут.

Вторник. До воскресенья пять дней.

Я села за стол, на её стул, где в клеёнке продавлена вмятина от тридцати лет, и стала думать, что на поминки нужны блины и кутья, что до магазина в деревне четыре километра и что дверь не открывается.

Мысль дошла до двери и встала.

* * *

Я пошла в сени проверить её при свете.

Ночью я была в неё вслепую, в одной лампочке, на голом ужасе. Днём надо было посмотреть.

Дверь стояла в косяке как влитая. Я присела и провела пальцем по притвору снизу доверху. Щель шла миллиметра в полтора по всей высоте, без перекоса. Дерево не разбухло, полотно не повело, петли на месте, и все три смазаны, мать за домом следила.

Я нажала на ручку. Язычок вышел из планки, я его видела и чувствовала пальцем.

Потянула. Дверь не пошла.

Я взялась двумя руками, упёрлась ногой в косяк и тянула, пока не заломило поясницу. Полотно не дало ни миллиметра. Оно не дрожало, не пружинило, не отыгрывало назад. Так не ведёт себя дерево. Оно всегда играет.

Пятнадцать лет меня учили, что у любого явления есть источник. Заедает дверь, ищи, где трёт. Гудит канал, ищи, где земля. Здесь искать было нечего. Механизма не было вообще.

Я бросила дверь и пошла по окнам.

Их в доме шесть. Я проверила все. Задвижки скрипели, шпингалеты ходили, рамы держались в четвертях мёртво. Стекло под ладонью отдавало вибрацию и не отдавало звука.

Последним было кухонное, у стола.

Я приложила к нему лбом, чтобы посмотреть вбок, на поляну.

Машина стояла там, где я её оставила, метрах в двадцати от крыльца.

Водительская дверь была открыта настежь.

Я закрывала её. Я помню, как закрывала, потому что нажала брелок и услышала писк, короткий, двойной, и этот писк был последним звуком, который до меня дошёл снаружи.

Теперь дверь стояла нараспашку, откинута до упора.

В салоне не горел плафон.

Он загорается всегда. Даже на севшем аккумуляторе, хотя бы вполнакала. Дверь была открыта, и плафон не горел, и приборка не горела, и на панели не мигал ни один диод.

Я стояла лбом в стекло и смотрела на свою машину минуты три.

Потом отошла.

* * *

В телефоне были голосовые от матери.

Три штуки. Последние. Я знала про них с похорон, когда Лёша сказал: «Ань, у тебя же голосовые от неё остались». Я сказала «потом».

Месяц этого «потом» не наступало.

Я открыла мессенджер. Три полоски. Первая два месяца назад, сорок три секунды. Вторая месяц и неделя, минута двенадцать. Третья шесть дней назад, девять секунд.

Шесть дней. За шесть дней до смерти.

Палец лежал на экране. Стекло грелось под подушечкой, тёплое, единственное тёплое в этом доме.

Я нажала первую.

Голос матери заполнил кухню, и я дёрнулась всем телом, хотя знала, что сейчас будет.

Он был живой. Записанный на микрофон телефона, с шорохом, какой бывает, когда трубку держат слишком близко ко рту. И с тем удлинением на последнем слог.

«Анечка, я тут подумала, может, ты приедешь на выходные, я бы пирог испекла, ты же любишь с яблоками. Я тут яблок набрала, в саду, мелкие, но сладкие. И вот я подумала, может, приедешь, посидели бы, ты бы мне рассказала, как у тебя. Я бы не мешала. Я бы просто слушала, ты же знаешь, я умею слушать».

Сорок три секунды, и ни в одной из них она не пожаловалась. Ни на одиночество, ни на страх.

Она предложила испечь пирог.

Я положила телефон экраном вниз и отошла к окну.

За стеклом стояло серое. Листва висела неподвижно, как приклеенная.

Желудок сводило и не отпускало, и я сказала в стекло:

– Пирог она испекла бы. Три года не звонила. Зато пирог.

Голос прозвучал, я услышала себя, и на слове «пирог» меня срезало. Хвост фразы ушёл вниз. Так уходит дорожка, если дёрнуть фейдер посреди слова.

Вчера мой крик пропал целиком и сразу. Сегодня меня сначала пустили говорить и забрали на середине.

Я стояла у окна и считала.

Пятнадцать лет я слушаю время. Полсекунды я чувствую руками.

Я сказала:

– Раз.

Слово держалось секунду с небольшим и осело.

– Раз.

Меньше. Заметно меньше.

Я взяла телефон и включила диктофон, поднесла ко рту и сказала в него всё, что помнила из таблицы умножения на семь. Потом нажала стоп и посмотрела на дорожку.

Дорожка шла прямой линией от края до края. Ни одного всплеска.

Микрофон не записал ничего.

Я стёрла файл и положила телефон на стол экраном вниз.

* * *

Вторая. Месяц и неделя. Минута двенадцать.

«Анечка, я тут в подвал ходила. Там за стеллажом коробка стоит, помнишь, ты на кассеты записывала всякое, когда тебе было десять? И в двенадцать. Я послушала немножко. Ты там песни поёшь и с кем-то разговариваешь, я не разобрала, с кем. Может, тебе надо? Я бы отправила, но почта тут не работает, ты знаешь. Может, приедешь и заберёшь. И заодно посидим, ты расскажешь, как у тебя на работе. Я лезть не буду. Мне просто послушать, как ты рассказываешь. У тебя голос делается другой, когда ты про свои частоты говоришь. Я ничего не понимаю. Слушать всё равно нравится. Ты в этом живёшь. Я хочу, чтобы ты жила, Анечка».

Минута двенадцать про кассеты, про почту и про мою работу. Подвал упомянут в первой фразе, вскользь, между делом, и страха в этой фразе нет ни на грамм.

Она ходила в подвал.

Лёша сказал: не ходи в подвал. Баба Нина сказала: там живёт тот, кто ест голоса. Мать ходила туда и рылась за стеллажом, и вернулась, и записала мне голосовое про кассеты.

У меня закружилась голова. Я взялась за край стола обеими руками и сидела так, пока не прошло.

«Она знала. Она всё это время знала и молчала».

Я сунула руку в карман и нащупала метроном. Не завела. Держала, пока пальцы не занемели.

Потом встала и пошла в сени.

Люк был справа от входной двери, под половиком. Я откинула половик ногой. Доски широкие, тёмные от времени, с утопленным чугунным кольцом заподлицо.

Мать спускалась туда. Не один раз. Она рылась за стеллажом, доставала коробку, слушала мои кассеты, потом поднималась и шла записывать мне голосовое.

Я присела на корточки и взялась за кольцо.

Чугун был холодный, холоднее пола, холоднее воздуха. Холод пошёл в ладонь и остановился в запястье.

Тянуть я не стала.

Вместо этого положила на доски всю руку, плашмя, как кладут на корпус, когда ловят наводку.

И поймала.

Ниже слышимого. Герц восемь или девять, на самой границе. Ухо такое уже не берёт. Тело берёт. Ровная нота без биений, без затуханий, без всякого признака мотора.

У инфразвука такой частоты нет источника в жилом доме. Ни насос, ни компрессор, ни ветер в трубе так не держат. Мотор гуляет. Ветер дышит. Это стояло, как стоит генератор на стенде, и держало свою частоту, и делало это давно.

Ладонь начала неметь.

Я убрала руку и вытерла её о джинсы, и запястье ныло ещё с минуту.

Половик я вернула на место и придавила ногой по краям, чтобы лежал плотно.

«Не ходи в подвал. Я и не иду».

Пятка оставила на половике тёмный полукруг.

* * *

Я решила заняться тем, зачем приехала.

Разобрать вещи. Закрыть счета. Найти документы, найти сберкнижку, найти договор на дом. Дело простое и с руками. Пока руки заняты, голова помалкивает.

Шкаф в её комнате был двустворчатый, фанерованный под орех, из покупаемых раз в жизни. Дверца пошла с длинным сухим скрипом.

Одежда висела плотно, плечо к плечу. Два пальто, три кофты, юбки, которые она не носила лет пятнадцать. Я провела рукой по рукавам.

Они ничем не пахли.

Одежда в шкафу всегда пахнет. Нафталином, духами, человеком, порошком, в крайнем случае пылью. Я сунула нос в воротник её синей кофты и втянула воздух.

Ничего. Как из новой упаковки.

Внизу, под юбками, стояла жестяная коробка из-под печенья, круглая, с оленями на крышке. Я вытащила её на кровать и открыла.

Паспорт. Полис. СНИЛС. Домовая книга в мягком переплёте, синяя, с чернильной записью шестьдесят третьего года. Пачка квитанций, перетянутая аптечной резинкой. Сберкнижка на её имя, последняя операция в двадцать втором.

Я разложила всё это на одеяле по стопкам и почувствовала себя почти нормально. Бумаги успокаивают. У бумаг есть порядок.

Под квитанциями лежали батарейки.

Мелкие, круглые, с чечевицу, в блистерах по шесть штук, с оранжевым ярлычком. Я взяла один блистер и повернула к свету.

Тип триста двенадцать. Воздушно-цинковые. Для слуховых аппаратов.

Я пересчитала. Двадцать две упаковки. Из них девять вскрыты, и в трёх пусто до конца.

Больше ста батареек.

Я сидела на её кровати с этим блистером в руке и перебирала в голове последние три года.

Мать говорила по телефону нормально. Никогда не переспрашивала. Никогда не просила говорить громче. И я ни разу в жизни не видела у неё ничего за ухом. На такие вещи я смотрю. У половины знакомых в цеху профессиональная потеря на верхах, и аппарат я замечаю раньше лица.

Я перерыла коробку до дна. Потом полки шкафа, потом ящик тумбочки, потом полку в коридоре.

Самого аппарата не было нигде.

Только батарейки, купленные впрок на годы вперёд, и половина из них уже потрачена.

Я сложила блистеры обратно, придавила квитанциями и закрыла крышку с оленями.

«Она слышала меня по телефону. Она всё слышала».

Руки у меня были холодные.

* * *

Третья. Шесть дней назад. Девять секунд.

Я смотрела на эту полоску долго. Если не нажму сейчас, не нажму никогда, и буду до старости гадать, что она сказала за шесть дней до смерти.

Нажала.

«Анечка, я».

И тишина.

Девять секунд. Два слова и семь секунд её дыхания в микрофон.

Я прослушала ещё раз. Потом ещё.

На четвёртом разе я услышала, что она там делает. Она набирала воздух. Три раза набирала воздух, чтобы сказать, и три раза не сказала.

В этих семи секундах лежало всё, чего она не сказала за тридцать лет. Одно слово. Я знала это слово и знать не хотела.

Прости.

Она его не сказала. Не успела или не смогла. Или знала, что если скажет, я приеду, а она не хотела, чтобы я приезжала.

* * *

Я прослушала эти девять секунд, наверное, раз двадцать, а потом сделала то, что делаю с любой записью, которая мне важна.

Открыла её в редакторе.

У меня в телефоне стоит нормальный редактор, я в нём правлю на выездах, и он работает без интернета, и ему всё равно, откуда файл.

Я перегнала голосовое из мессенджера и вывела на экран дорожку.

* * *

Первые полторы секунды: «Анечка, я». Два коротких всплеска, между ними провал.

Дальше семь секунд дыхания. Три горба, три её попытки набрать воздух, и между ними низкий фон без движения.

Всё как я и слышала.

Я переключилась на спектр.

* * *

Спектрограмма это картинка, где по горизонтали время, по вертикали частота, а яркость показывает, сколько там энергии.

Голос человека на ней выглядит как расчёска: полосы обертонов, ступеньками вверх, с провалами на паузах.

Её расчёска стояла где положено, от ста двадцати герц и выше.

А в самом низу картинки, под всей её речью, шла тонкая линия.

* * *

Она не прерывалась.

Она шла все девять секунд, от первого кадра до последнего, не считаясь ни с её словами, ни с её паузами, ни с тем моментом, где она отняла телефон от лица.

Прямая. Как рельс.

Я поставила курсор и посмотрела частоту.

Тридцать четыре герца.

* * *

Такого не бывает по трём причинам, и я перебрала все три, сидя на кухне мёртвой матери с телефоном в руках.

Сеть даёт наводку на пятидесяти. Это не пятьдесят.

Телефонный микрофон физически не берёт ниже семидесяти, ему нечем, там стоит фильтр в самом железе.

А мессенджер жмёт голос кодеком, который срезает всё под восьмидесятью, потому что для речи это мусор и его выбрасывают, чтобы экономить трафик.

* * *

То есть этой линии не должно было существовать трижды.

Микрофон не мог её записать. Кодеком не мог её пропустить. Сеть не могла её туда положить.

Она была.

* * *

Я открыла второе голосовое, месячной давности.

Та же линия.

Первое, двухмесячное, сорок три секунды.

Та же.

Тридцать четыре герца, под всем, что она говорила, во всех трёх файлах, записанных в разные месяцы и на разном расстоянии.

* * *

Я сидела и смотрела на эту полоску внизу экрана.

Тогда я не поняла ничего и решила, что это артефакт сжатия или что у неё в кармане что-то гудело.

Я даже придумала объяснение: холодильник у соседей, трактор за деревней, ЛЭП.

В деревне ЛЭП была. В её доме электричества не было с двухтысячного года, но я про это ещё не знала.

* * *

Я вернусь к этой линии через одиннадцать дней, в кладовке, с наушниками, прижатыми к скуле.

И тогда мне станет понятно, что она значит.

А пока я просто пометила её в блокноте одной строкой, потому что так меня учили: не понял, но записал.

«34 Гц во всех трёх. Микрофон не берёт. Проверить».

Я сказала вслух, в кухню:

– Прости меня тоже, мам.

Фразу срезало на «мам». Я успела услышать «прости меня» и половину «тоже».

Быстрее, чем пять минут назад.

Я замолчала и больше вслух не говорила.

* * *

Голос пришёл через кость.

Не через воздух и не через телефон. Из-под коренных, из кости, вверх по скулам, к вискам. Я почувствовала его языком раньше, чем поняла.

Доченька.

Я стиснула зубы.

Мне холодно. Иди ко мне.

Вчера он держался с полминуты. Сегодня он не кончался.

Я сидела на её стуле, вцепившись в край стола, и слушала, как в моей собственной челюсти говорит мать. Ногти уже были сорваны со вчера, и я вжимала их в те же места, и от этого было больно правильно, по-настоящему.

Анечка. Ты же приехала. Я слышу, что ты приехала. Спустишь ко мне, тут недалеко.

Он знал, что я слушала голосовые.

Он знал, что я слышала произнесённое.

«Мне холодно» било в то, что я всю жизнь её грела: тапки, плед, чай, шапку надень. «Спустишь» било в три года, за которые я не приехала ни разу.

Я ненавидела этот голос. Ненавидела себя за то, что хочу ответить. Ненавидела мать за то, что она умерла и оставила меня с этим.

Потом перестала ненавидеть мать.

Потом начала опять.

Слёзы шли от давления. Я их не трогала, потому что для этого пришлось бы отпустить стол.

И тогда я слышала.

Не голос. Через воздух. Через кухню.

Тихий звук на самой границе, такой, что я не была уверена в нём три или четыре секунды. Он шёл из коридора, из её комнаты.

Щелчок. С паузой примерно в секунду. Потом ещё.

Я встала. Ноги держали плохо, и я пошла на звук, и линолеум лип к подошвам, и порезанная пятка отзывалась на каждый шаг.

По коридору. Мимо тумбочки с фотографией, которую я вчера положила лицом вниз.

Она лежала лицом вверх.

Я остановилась и посмотрела на неё, и мама на снимке смеялась, и мне было пять, и я сидела у неё на коленях.

Я не стала её переворачивать. Пошла дальше.

Дверь в её комнату была открыта, как я её и оставила.

На тумбочке стоял магнитофон.

Вчера тумбочка была пустая. Я это помню, потому что смотрела на круглый след в пыли и думала, что тут стояло.

Теперь на этом следу стоял он. Старая «Электроника», серая, с двумя катушками и лохматым шнуром, свёрнутым восьмёркой. Правая катушка крутилась. Плёнка наматывалась.

И на каждой секунде щёлкало.

Мать тридцать лет писала на этот магнитофон. Я знала его с детства, я его боялась трогать, я на нём училась слышать разницу между двумя записями одного шума.

Я подошла и остановилась в полуметре.

Вблизи щелчок был громче и слышался яснее. Он шёл не от механики. Механика в этих аппаратах шуршит. Этот щёлкал изнутри плёнки, с одинаковой паузой, и пауза была короче секунды, около девятисот миллисекунд.

Я протянула руку к кнопке «стоп».

Палец лёг на пластик. Холодный.

Я не нажала.

Пока щёлкало, голос молчал.

* * *

Я убрала палец и отошла на шаг.

Катушка крутилась. На левой намоталось уже прилично, на правой оставалось больше половины.

Я села на край кровати. Матрас просел, пружина скрипнула ржаво, и скрип я услышала.

И сделала то, чего делать не стоило.

Достала метроном, поставила его на тумбочку рядом с магнитофоном и завела колесико.

Щелчок метронома был тише плёночного и приходил чаще. Два щелчка пошли внахлёст. Они сближались, почти совпадали и снова расходились, и каждый раз, когда они сходились, у меня ныли зубы.

Биения. Обычная физика, разница частот.

Я знаю эту физику пятнадцать лет и всё равно сидела и слушала, как она меня выкручивает.

Метроном был мой. Мамин и мой. Я за него держалась.

Голос пришёл через кость поверх обоих щелчков.

Доченька. Мне так холодно. Я тут. Я жду.

Она говорила мне это в детстве, когда я не спала и приходила к ней под одеяло. Я тут. Я жду тебя.

Я встала. Ноги не слушались две секунды.

Забрала метроном, вышла и закрыла за собой дверь.

Через дверь щелчок был слышен. Тише, глуше, с обрезанными верхами.

Я слышала его из коридора и знала, сколько там осталось плёнки.

* * *

На кухне я открыла кран.

Вода пошла. Я наклонилась и подставила ухо почти к самой струе.

Голос смолк.

Я стояла в неудобной позе, согнувшись над мойкой, ухом в двадцати сантиметрах от воды, и вода гудела и била в эмаль, и в моей голове было пусто и хорошо.

Так продолжалось минут пять.

Потом струя дрогнула. Стала тоньше. Захлебнулась, плюнула воздухом и пошла с пере-
боями.

Я закрутила и открыла снова.

Вода дала несколько толчков и кончилась.

В трубе оседало и стихало ещё секунды три.

Потом стихло и это.

Голос вернулся сразу, без разгона, будто ждал за дверью.

Анечка. Не молчи.

Я села на пол у мойки, спиной к тумбе, и обхватила колени.

И заметила, что не слышу себя.

Я дышала. Грудная клетка ходила, воздух шёл через нос, я чувствовала его горлом. Звука
не было.

Вчера я слышала своё дыхание. Всю ночь слышала. Держалась за него на полу у двери.

Я задержала воздух и выдохнула резко, через рот, со всей силы.

Ничего.

Я сделала это ещё раз, ближе к собственной ладони, чтобы почувствовать поток. Он был.
Тёплый, влажный.

Беззвучный.

Со вчерашнего вечера у меня забрали крик, потом хвосты слов, потом сами слова. Теперь
дыхание.

Оно забирает по одному. Оно ждёт, пока я отзовусь, и пока я молчу, оно обходит меня
по кругу и снимает по звуку за раз.

Я достала метроном и завела.

Первый щелчок пришёл. Тихий, латунный, на своём месте.

Я держала его в горсти, у самого уха, и считала.

За дверью в её комнате щёлкала плёнка, и на левой катушке её оставалось меньше поло-
вины, и когда она кончится, в доме останется только голос.

Глава 3

Утро среды я начала с того, что вышла на крыльцо и попробовала уехать.

Ключ повернулся, стартёр взял, мотор пошёл с полтычка. Я сидела в машине с работающим двигателем и слушала его ладонями через руль. Ушами уже не могла.

Мотор работал. Я могла развернуться и быть на трассе через двадцать минут.

Я заглушила и вышла.

Потом я долго себе это объясняла.

Документы не разобраны, счета не закрыты, тетради в кладовке я ещё не открывала.

Всё это правда, и всё это неважно.

Правда была в том, что мать умерла в этом доме одна, а до этого тридцать лет звонила мне раз в неделю и говорила, что ей тут хорошо, и я ни разу не спросила почему.

И теперь я приехала и услышала её голос в собственной челюсти.

Уехать я могла. Уехать значило не узнать.

* * *

В Овсяники я поехала в одиннадцать.

Двенадцать километров грунтовки, потом кусок асфальта. Через четыре километра от поляны в машине появился звук. Не появился, конечно, а я снова стала его слышать: гравий под днищем, свист в щели у стекла, работу мотора.

Я остановилась на обочине и посидела с открытым окном минуты три, слушая ветер в берёзах.

Ветер был. Птицы были. Верхних частот у меня не было, и потому птицы шли обрубленными, без свиста, одними серединами, как через плохой телефон.

Я не заплакала только потому, что за рулём неудобно.

* * *

Деревня оказалась живая.

Сорок с чем-то дворов, асфальт по центральной, столбы с проводами, три трактора у забора. На пяточке у магазина стояли машины и мотоцикл с коляской, и мужики курили у крыльца.

Магазин был обычный сельский: «Продукты», железная дверь, звонок над ней, холодильник с мороженым у входа.

Когда я вошла, разговор внутри шёл.

Три женщины у прилавка и продавщица. Обсуждали кого-то, у кого сын вернулся.

Я взяла корзину и пошла вдоль полок, и слышала их плохо: женские голоса лежат высоко, у меня оттуда осталась половина. Я разбирала интонации и не разбирала слов.

Набрала консервов, хлеба, чаю, спичек три пачки, свечей все, что были, шесть штук.

Подошла к прилавку.

Продавщица посчитала и назвала сумму, и я попросила повторить, и она повторила громче, и я услышала.

– Вы извините, – сказала я. – У меня со слухом.

Она кивнула.

– С поляны? – спросила одна из женщин у меня за спиной.

* * *

Разговор в магазине не прекратился.

Он просел.

Так проседает фон, когда в комнате выключают вентиляцию: вроде всё то же, и вроде стало меньше наполовину.

Я обернулась.

Три женщины смотрели на меня. Одна лет пятидесяти, две постарше. Смотрели вежливо и без выражения, и от этого отсутствия выражения мне стало неудобно.

– Оттуда, – сказала я. – Я Верина дочь.

– Аня, – сказала та, что спрашивала. – Мы знаем.

Пауза.

– Соболезнуем, – сказала она.

Продавщица положила мне сдачу и посмотрела в сторону.

* * *

Я вышла с двумя пакетами.

Мужики у крыльца замолчали, когда я проходила мимо, и заговорили снова, когда я отошла на десять шагов.

Я это отчётливо услышала. Мужские голоса низкие, у меня они целые.

Я поставила пакеты в багажник и стояла у машины, и от обиды у меня жгло в горле, и я думала, что деревня есть деревня, что я тут чужая, что мать они, наверное, тоже сторонились.

Потом я подняла глаза и увидела, что через дорогу ко мне идёт старуха.

* * *

Она шла медленно и прямо, опираясь на палку и глядя мне в лицо все двадцать метров.

Маленькая, сухая, в платке, в тёплой кофте по июньской жаре.

Дошла и встала передо мной.

– Ты Верина, – сказала она.

Голос у неё был низкий, прокуренный, старушечий. Я слышала его целиком, и от этого мне сразу стало легче.

– Да.

– Я Гунько Мария Степановна. Мать твою ко мне ходила. Двадцать девять лет.

Я не знала, что ответить, и сказала:

– Я не знала.

– Она много про кого не рассказывала.

Она стояла и смотрела на меня снизу вверх, и глаза у неё были ясные.

– Ты в дом вернёшься?

– Да. Мне вещи разобрать.

– Ну и разбирай, – сказала она. – Только слушай сюда, я один раз скажу.

* * *

– Печку не топи.

Я подумала, что ослышалась.

– Простите?

– Печ-ку не то-пи, – сказала она по слогам, глядя мне в рот. – Ни печку, ни плитку. И костёр во дворе тоже. Свет вечером не жги. Мотор в машине заводи и сразу поезжай, во дворе с ним не сиди.

– Мария Степановна...

– И не аукай.

Я стояла у багажника с ключами в руке и не понимала, как на это отвечать взрослому человеку.

– Что значит не аукай?

– Не кричи. Не пой. Не зови никого. Если тебя оттуда позовут, ты не отзывайся.

– Кто позовёт?

Она пожевала губами.

– Мать, кто ж ещё.

* * *

Я почувствовала, как у меня холодеют руки.

Не от страха ещё. От того, как буднично она это сказала, как говорят про погоду.

– Мария Степановна, а вы откуда...

– Оттуда, – сказала она. – У меня там брат.

Она рассказала мне это за четыре минуты, стоя на солнцепёке у моего багажника, и ни разу не сбилась.

Брат Пётр, объездчик. Поселили с семьёй в шестьдесят первом в дом на поляне. Ходил к ней первое время в Овсяники и жаловался, что в доме тихо.

– Он говорил: у меня, Маш, радио играет, а я его не слышу. Я, говорит, приёмник в руки беру, а он играет.

Я стояла и слушала.

– Я говорю, к врачу иди. А он говорит: у меня жена не слышит и дети не слышат. Мы, говорит, вчетвером не слышим одно и то же.

* * *

– Он у меня в тот раз ночевал. Ночью встал и в сени вышел. Я слышу, он в сенях разговаривает.

Она посмотрела мне в глаза.

– Я утром спрашиваю: ты с кем говорил? А он мне: с мамой. А мать наша к тому году девять лет как лежала.

Пауза.

– Я его перекрестила и в дом больше не пустила. И вся моя вина в том, что не пустила. Он к себе пошёл, и через месяц его не стало.

* * *

– А жена его?

– Жена ещё два года прожила там, с детьми. В шестьдесят четвёртом все трое. Искали три недели, лес прочесали. Ничего.

Я сглотнула.

– И вы всё это знали и никому...

– Кому? – сказала она.

И это было, наверное, самое честное слово за весь разговор.

Я стояла и перебирала в голове, кому.

Участковому, который за двадцать лет оформил четыре таких дела и не нашёл ни одного объяснения. В район, где эту бумагу подошьют. В газету. В интернет, где деревне девяносто два года и нет никакого интернета.

Никому.

* * *

Я спросила, ещё держась за ту версию, где это всё деревенское суеверие:

– Мария Степановна, а почему нельзя топить? Что от печки-то?

Она посмотрела на меня, как смотрят на человека, который спрашивает, почему нельзя совать руку в станок.

– Тёплое оно находит, – сказала она. – Оно ничего не видит и не слышит. Оно только тёплое находит. А на шум просыпается.

– На шум просыпается, а находит по теплу, – повторила я, и услышала, как это звучит из моего собственного рта, и мне стало неловко.

– Ты умная, – сказала она без всякой издёвки. – Ты запомнила. Хорошо.

* * *

Я задала ещё один вопрос, из чистого упрямства.

– А если я дров наколю? Там колода стоит и топор. Это же шум.

Она даже не задумалась.

– Коли, – сказала она. – Только в такт коли. Оно ладного не слышит.

– Как это ладного?

– Ну ладного. Мерного. Часы вон идут, оно их не слышит. А ты уронишь чашку, и оно тут. Я стояла и кивала.

Я решила, что это уже совсем бабкино: что мол нечистая любит непорядок, а под ладную работу с молитвой не приходит.

Я это даже не запомнила толком.

* * *

Через сутки я нашла то же самое в тетради, в четырёх строчках, с датами и с описанием опыта, и села на крыльце с этой тетрадью, и мне было очень стыдно.

* * *

Она повернулась и пошла обратно через дорогу.

На середине остановилась и сказала, не оборачиваясь:

– Мать твоя двадцать девять лет не топила. Я ей валенки вязала.

И пошла дальше.

Я стояла у машины и смотрела ей вслед, и до меня доходило по частям.

Двадцать девять лет.

Не топила зимой. В Подмосковье. В бревенчатом доме на поляне, где нет соседей, нет магазина и нет никого, кто заглянет и увидит, что человек живёт в холоде.

Валенки в доме. Спала одетой. Воду грела только на то, чтобы выпить, и до такой температуры, чтобы не обжечься.

Я вспомнила её руки на похоронах. Пальцы у неё были узловатые, суставы вывернутые, и я тогда подумала: артрит, возраст, деревня.

Двадцать девять зим без печки.

* * *

На кладбище я поехала оттого, что не могла сразу сесть в машину.

Оно стояло на выезде из Овсяников, на бугре, за железной оградой, с калиткой на проволочной закрутке.

Могилу матери я нашла быстро. Свежая земля, ещё горбом, венок с ленточкой, деревянный крест с табличкой, которую я сама заказывала месяц назад по телефону из Москвы.

На холмике лежали цветы.

Полевые, перевязанные ниткой, свежие, положенные день или два назад.

* * *

Я не привозила цветов.

Лёша не приезжал ни разу.

Я стояла и смотрела на этот пучок, перевязанный обыкновенной белой ниткой, и понимала, что кто-то в этой деревне поднялся, дошёл сюда и положил.

Через двадцать минут я узнаю, кто.

Слева от матери был дед.

Кравцов Иван Тимофеевич, 1926–1996, железная пирамидка со звездой, крашенная серебрянкой, оградка на две могилы.

Я стояла между ними и считала.

Она приехала к нему в девяносто третьем, похоронила его в девяносто шестом и осталась ещё на двадцать семь лет.

Место рядом с ним она держала все эти годы.

* * *

Дальше по ряду шли Гунько.

Их было много: Овсяники деревня в сорок дворов, а фамилий в ней, наверное, восемь.

Я шла вдоль и читала, потому что уже не могла остановиться.

И на третьей могиле от края встала.

Это была плита без холмика.

Серый бетон, лежащий, покрытый лишайником, и на нём выбито три строчки.

«Гулько Анна Ивановна, 1932–1964.

Гулько Валентина Петровна, 1957–1964.

Гулько Николай Петрович, 1960–1964».

И ниже, мельче:

«Пропали без вести».

* * *

Под этой плитой не было никого.

Я это поняла сразу, потому что там так и написано, и потому что могила без холмика это не могила.

Кто-то в шестьдесят четвёртом году заказал бетон, выбил на нём три имени и положил на пустую землю, чтобы было куда ходить.

Женщина тридцати двух лет и двое детей, семи и четырёх.

Я стояла над этой плитой минут пять.

Обратно к калитке я шла и смотрела под ноги.

У самого выхода, справа, стояла ещё одна оградка, и в ней я увидела то, от чего у меня по-настоящему сжалось.

Одна могила и одна пустая половина.

На могиле: «Гулько Степан Матвеевич, 1901–1953». На пустой половине, у самой оградки, стояла лавочка, покрашенная в тот же серебристый цвет, и на лавочке лежал сложенный кусок клеёнки, чтобы не мокло.

Место было приготовлено давно и держалось в порядке.

* * *

Я тогда решила, что это чья-то жена ждёт своей очереди.

Через две с половиной недели я поняла, что это была Мария Степановна, и что она сидела на этой лавочке шестьдесят с лишним лет рядом с отцом, у пустого места, которое так и осталось пустым. Оно ей и не понадобилось.

Она легла в другом месте, в четырёх слоях над братом.

Обратно я ехала и разговаривала вслух сама с собой, потому что иначе не выдержала бы.

– Так, – говорила я. – Старухе девяносто с чем-то. Брат пропал в шестьдесят втором, шестьдесят три года назад. Она с этим живёт всю жизнь. Она построила себе систему, чтобы это как-то называлось.

Гравий шуршал под днищем.

– Дальше. У матери был какой-то дефект слуха, наследственный, вероятно. У меня, судя по всему, тот же. Люди с потерей слуха слышат фантомные звуки, это медицинский факт, это называется слуховые галлюцинации.

Я вцепилась в руль.

– И вчера я видела в стене шланг.

* * *

На обратном пути я остановилась там, где кончаются птицы.

Я знала это место с понедельника. Четыре километра не доезжая поляны, на подъёме, где грунтовка выходит из ельника в редкий березняк.

До него я слышала лес. За ним не слышала.

Я вылезла из машины в половине третьего дня, при полном солнце, и пошла искать границу пешком.

Я нашла её за десять минут, и она была узкая.

Я шла по обочине и слушала, и на каком-то шаге верхняя половина леса выключилась.

Я отступила на два шага назад: есть. Вперёд на два: нет.

Неопределённость уложилась в полтора метра.

Полтора метра на четыре километра леса. Это не туман и не рассеяние, это край.

* * *

Я нашла на обочине палку и воткнула её в эту точку.

Потом пошла вдоль, забирая в лес, и через каждые двадцать шагов проверяла себя и поправлялась.

Через сорок минут я вышла к дороге снова.

Метрах в двухстах от палки, с другой стороны.

Это была окружность.

Я стояла посреди грунтовки, вспотевшая, с исцарапанными руками, и рисовала себе в голове круг, который только что обошла по дуге.

Он был не круглый в чертёжном смысле. Он выпирал и вдавливался, как выпирает пятно на потолке.

Но он замыкался, и центр у него был.

В центре стоял дом моей матери.

* * *

Я вернулась к палке и постояла у неё.

С той стороны, где птицы, было нормальное июньское лето: гудят слепни, стрекошет что-то в траве, наверху дятел, ветер идёт по верхушкам с шелестом.

С той стороны, где птиц нет, шёл только ветер. Низкий, ватный, будто из-под подушки.

Я слышала обе стороны одновременно, стоя одной ногой в каждой.

И тут я решила проверить сама.

Я отошла на десять шагов назад, в живую сторону, и топнула.

Кроссовка по сухой земле даёт короткий сухой удар. Он у меня был.

Я хлопнула в ладоши. Был.

Я взяла с земли два камня и стукнула друг о друга. Был, звонкий, я его слышала обрубленным сверху, но слышала.

Потом перешла черту и сделала то же самое.

* * *

Топнула.

Ничего.

Я подумала, что дело в почве, и топнула ещё три раза, сильно, всей стопой, и почувствовала удар в колене и не услышала его.

Хлопнула в ладоши, у самого лица. Ладони встретились, я почувствовала боль в правой.

Тишина.

Стукнула камнями. Я видела, как они сходятся. Я видела, как с них летит крошка.

Тишина.

Я стояла на границе с двумя камнями в руках и стучала ими то по одну сторону палки, то по другую.

Есть. Нет. Есть. Нет.

Я проделала это, наверное, раз двадцать.

Расстояние между «есть» и «нет» было шага полтора.

* * *

Дальше я сделала глупость, и хорошо, что она обошлась.

Я прошла в мёртвую сторону метров тридцать, чтобы посмотреть, что там.

Обыкновенный лес.

Живой, зелёный, с подростом, с папоротником, с солнечными пятнами на земле.

Только он был прибранный.

Я не сразу поняла, что меня смущает, и минуты две ходила и смотрела под ноги.

Потом дошло.

Ни одного муравейника. Ни паутины между веток, ни жука на стволе, ни мухи в воздухе, ни единого птичьего помёта на прошлогодних листьях.

Подстилка лежала нетронутая, слоями, как стелют постель.

За тридцать метров я не увидела ни одного живого существа мельче себя.

* * *

Я побежала обратно к палке.

Я это помню отчётливо: я побежала, и мне было очень важно услышать собственные шаги, и я ждала того момента, когда они включатся.

Они включились.

Я вылетела в живую сторону, села на обочину и просидела там минут пятнадцать, слушая слепней и радуясь им, как радуются людям.

Палку я оставила.

Она стояла там до конца, и я потом проходила мимо неё ещё дважды, и оба раза граница была на другом месте.

* * *

В пятницу она сдвинулась в живую сторону метров на шесть.

В следующий четверг я палку уже не нашла. Она осталась внутри.

* * *

Дома я разобрала пакеты и стала искать, на чём вскипятить воду.

Электричества в доме не было.

Я это выяснила в первый же вечер: щиток на стене, автоматы выключены, и от щитка к столбу не идёт ничего, потому что провода со столба сняты, и на изоляторах висят только огрызки.

Я тогда решила, что мать не платила и её отрезали.

В её тетрадах потом стояло: «12.11.2000. Сняли провод. Сама попросила».

Плитка стояла в сенях, под мешковиной, со шнуром, обрезанным у самого корпуса.

Я вытащила её, посмотрела на этот обрезанный шнур и поставила обратно.

Оставалась печка.

* * *

Печку я растопила в семь вечера.

Дрова лежали в сенях, сухие, берёзовые, мать их не жгла и они лежали лет пятнадцать. Заслонку я нашла по памяти, тягу открыла, растопку сделала из газеты.

Огонь пошёл сразу.

Я сидела перед открытой дверцей на корточках, и на лицо шёл жар, и это было первое живое ощущение за трое суток.

Дом стал тёплым к девяти.

К десяти я стянула куртку впервые с понедельника.

Голос пришёл в одиннадцать сорок и был другой.

Не тише, не громче. Ближе.

Все предыдущие разы он приходил из-под коренных и шёл вверх, будто просачивался. Сейчас он лежал сразу везде: в челюсти, в висках, в затылке, в ключицах.

Доченька. Как хорошо-то у тебя.

Я сидела на кухне у тёплой печки, с чашкой в руках, в одной футболке.

Как хорошо, тепло. Я тридцать лет так не сидела.

* * *

Я не ответила.

Я поставила чашку, встала и пошла закрывать заслонку, и рука у меня не попадала с первого раза.

Ты не бойся. Ты сиди. Я просто рядом посижу.

Заслонка пошла. Тяга кончилась.

Я открыла обе форточки и входную дверь в сени, и стояла в проёме, и гнала из дома тепло полотенцем, как гонят дым.

Печка отдавала часа три.

Из кухни в коридор в ту ночь вышло семь отростков.

Я считала. Они выходили из-под плинтуса по одному, каждый минут через десять, и ложились по полу веером к тому месту, где стояла печь.

Не ко мне.

К печке.

Я стояла в сенях, в куртке, на сквозняке, и смотрела на них через открытую дверь, и они лежали на тёплом полу, и ни один не двинулся в мою сторону. Я стояла на сквозняке и была холоднее всего в доме.

К четырём утра печь остыла.

К пяти они ушли.

* * *

Утром я нашла на полу кухни, перед печной дверцей, тёмное пятно в метр диаметром.

Линолеум под ним был чистый, без пыли, вылизанный до рисунка.

Я стояла над этим пятном и вспоминала, что тут вчера было.

Тут я сидела на корточках перед открытым огнём.

Печку я всё-таки проверила.

Подошла и положила ладонь на побелённый бок.

Кирпич был комнатной температуры.

Русская печь после нормальной топки держит тепло шестнадцать часов, это знает всякий, кто хоть раз в такой избе зимовал. Она отдаёт всю ночь и к обеду ещё тёплая.

Эта остыла за четыре часа.

* * *

Я открыла дверцу и посмотрела внутрь.

Угли лежали в поду серой горкой.

Я разгребла их кочергой и запустила туда руку, потому что мне надо было знать наверняка.

Зола была холодная насквозь, до самого низа, и в ней не осталось ни одной искры.

Берёзовые угли под слоем золы держат жар до полудня следующего дня.

Эти были как из вчерашнего костра, залитого дождём.

Я села на пол в куртке, в холодном доме, и записала на полях старой газеты первую строчку своим почерком:

«Не топить. Не греться. Проверено».

А ниже, подумав, дописала:

«Она сказала правду. Значит, и остальное правда».